# Мои встречи с Анной Ахматовой

Георгий Адамович

SHOUT
SHARE
IT

- Георгий Адамович (1892-1972)
  - 
- notes
  - 1
  - 2

# Георгий Адамович (1892-1972)
# Мои встречи с Анной Ахматовой

Воздушные пути, 1967, №5 стр.99-114

Не могу точно вспомнить, когда я впервые увидел Анну Андреевну. Вероятно, было это года за два до первой мировой войны в романо-германском семинарии Петербургского университета. К этому семинарию я прямого отношения как студент не имел, но часто там бывал: был он чем-то вроде штаб-квартиры молодого, недавно народившегося акмеизма, а заодно и местом встречи первых формалистов, еще не уверенных в себе и разрабатывавших свои теории скорей но отталкиванию от всякого рода нео-Скабичевских, чем по твердому убеждению. На русское отделение историко-филологического факультета романо-германцы посматривали свысока, и не без основания к этому. Гумилев, например, с насмешливым раздражением рассказывал, что на экзамене по русской литературе, — экзамене, на котором он собирался блеснуть знаниями и остротой своих суждений, — профессор Шляпкин спросил его:

— Скажите, как вы полагаете, что сделал бы Онегин, если бы Татьяна согласилась бросить мужа?

В романо-германском семинарии беседы и споры велись на другом уровне, и для меня лично он был окружен особым, таинственным, неотразимо-обаятельным ореолом. Несколько раз в год устраивались там поэтические вечера, — не для публики, а для «своих», — и быть причисленным к «своим», пусть и не без снисхождения, казалось великим счастьем. Однажды К. В. Мочульский, мой будущий близкий парижский друг, — по всему своему порывистому, несколько зыбкому душевному строю и болезненной впечатлительности не способный стать формалистом подлинным, — сказал мне: «Сегодня приходите непременно… будет Ахматова. Вы читали Ахматову?»

Читал ли я Ахматову! С первых ее строк, попавшихся мне на глаза, с обращения к ветру:

*Я была, как и ты, свободной.*
*Но я слишком хотела жить.*
*Видишь, ветер, мой труп холодным,*
*И некому руки сложить…*

— с этого ритмического перебоя «и некому руки сложить» я

был очарован и, как тогда любили выражаться, «пронзен» ее стихами, — почти так же, как несколькими годами раньше, еще в гимназии, был очарован, «пронзен» первыми попавшимся мне на глаза строчками Блока в «Земле в снегу»:

*О, весна без конца и без краю!*
*Без конца и без краю мечта…*

Ахматова была уже знаменита, — по крайней мере в том смысле знаменита, в каком Маллармэ, беседуя с друзьями, употребил это слово по отношению к Виллье де Лиль Адану: «Его знаете вы, его знаю я… чего же больше?» В тесном кругу приверженцев новой поэзии о ней говорили с восхищением. Гумилев, ее муж, на первых порах относился к стихам Анны Андреевны резко отрицательно, будто бы даже «умолял» ее не писать, — и вполне возможно, что тут к его оценке безотчетно примешались соображения и доводы личные, житейские. Не литературная ревность, нет, а непреодолимая, скептическая неприязнь, вызванная ощущением глубокого, коренного отличия ахматовского поэтического склада от его собственного. Признал он Ахматову как поэта, и признал полностью, без оговорок, лишь через несколько лет после брака. А «вывел ее в люди», — если такое выражение в данном случае уместно, — Кузмин, безошибочно уловивший своеобразие и прелесть ранних ахматовских стихов, как уловил это и Георгий Чулков, «мистический анархист», приятель и подголосок Вячеслава Иванова, когда-то рассмешивший пол-России вступительной фразой к большой, программной статье: «Настоящий поэт не может не быть анархистом, — потому что как же иначе?» Авторитет Кузмина был, конечно, гораздо значительнее чулковского. и главным образом именно он способствовал возникновению ахматовской славы. Помню надпись, сделанную Ахматовой уже после революции на «Подорожнике», или, может быть, на «Анно Домини», при посылке одного из этих сборников Кузмину: «Михаилу Алексеевичу, моему чудесному учителю». Однако к концу жизни Кузмина, в тридцатых годах, Ахматова перестала с ним встречаться, не знаю, из-за чего.

Анна Андреевна поразила меня своей внешностью. Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание.

Позднее в ее наружности отчетливее обозначился оттенок трагический: Рашель в «Федре», как в известном восьмистишии сказал Осип Мандельштам после одного из чтений в «Бродячей собаке», когда она, стоя на эстраде, со своей «ложноклассической», «спадавшей с плеч» шалью, казалось, облагораживала и возвышала все, что было вокруг. Но первое мое впечатление было иное. Анна Андреевна почти непрерывно улыбалась, усмехалась, весело и лукаво перешептывалась с Михаилом Леонидовичем Лозинским, который, по-видимому, наставительно уговаривал ее держаться серьезнее, как подобает известной поэтессе, и внимательнее слушать стихи. На минуту-другую она умолкала, а потом снова принималась шутить и что-то нашептывать. Правда, когда, наконец, попросили и ее прочесть что-нибудь, она сразу изменилась, как будто даже побледнела: в «насмешнице», в «царскосельской веселой грешнице», — как Ахматова на склоне лет сама себя охарактеризовала в «Реквиеме», — мелькнула будущая Федра. Но ненадолго. При выходе из семинария меня ей представили. Анна Андреевна сказала: «Простите, я, кажется, всем вам мешала сегодня слушать чтение. Меня скоро перестанут сюда пускать…» — и, обернувшись к Лозинскому, опять рассмеялась.

Потом я стал встречаться с Анной Андреевной довольно часто, — чаще всего в той же «Бродячей собаке», где бывала она постоянно. Этот подвальчик на Михайловской площади, с росписью Судейкина на стенах, вошел в легенду благодаря бесчисленным рассказам и воспоминаниям. Ахматова посвятила ему два стихотворения: «Все мы бражники здесь, блудницы» и «Да, я любила их, те сборища ночные». Сборища действительно были ночные: приезжали в «Бродячую собаку» после театра, после какого-нибудь вечера или диспута, расходились чуть ли не на рассвете. Хозяин, директор, Борис Пронин безжалостно выпроваживал тех, в ком острым своим чутьем угадывал «фармацевтов», т. е. людей, ни к литературе, ни к искусству отношения не имевших. Впрочем, все зависело от его настроения: случалось, что и явным фармацевтам оказывался прием самый радушный, ничего предвидеть было нельзя. Было очень тесно, очень душно, очень шумно и не то чтобы весело: нет, точное слово для определения царившей в «Собаке» атмосферы найти мне было бы трудно. Не случайно, однако, никто из бывавших там до сих пор ее не забыл.

Бывали именитые иностранные гости: Маринетти, бойкий, румяный, до смешного похожий на «человека из ресторана», — не хватало только сложенной белоснежной салфетки на руке! — Поль Фор, многолетний «король» французских поэтов, Верхарн,

Рихард Штраус и другие. Для Штрауса, по настойчивому требованию Пронина. Артур Лурье, считавшийся в нашем кругу восходящей музыкальной звездой, сыграл гавот Глюка в своей модернистической аранжировке, после чего Штраус встал и, подойдя к роялю, сказал по адресу Лурье несколько чрезвычайно лестных слов, но сам играть наотрез отказался. Бывали все петербургские поэты, символисты, акмеисты, футуристы, еще делившиеся на «кубо», во главе с Маяковским в желтой кофте и Хлебниковым, и «эго», последователей Игоря Северянина, которых полагалось сторониться и слегка презирать. Хлебников уже и тогда казался загадкой. Сидел он молча, опустив голову, никого не замечая, весь погруженный в свои таинственные размышления или сны. Присутствие его излучало какую-то значительность, столь же непонятную, как и несомненную. Помню, Мандельштам, по природе веселый и общительный, о чем-то оживленно говорил, говорил, — и вдруг оглянувшись, будто ища кого-то, осекся и сказал:

— Нет, я не могу говорить, когда там молчит Хлебников!

А Хлебников находился даже не поблизости, а за стеной, разделявшей подвал на два отделения, — второе полутемное, без эстрады и столиков, так сказать, «интимное».

Никогда не бывал в «Бродячей собаке» Блок, вопреки распространенным в эмиграции утверждениям. Кстати, надо было бы категорически опровергнуть и другие россказни, сложившиеся в эмиграции и до сих пор прочно держащиеся: о каком-то «романе» Блока с Ахматовой, о чем-то вроде «amitie amoureuse» [1], между ними возникшей.

Никогда ничего подобного не было, никто об их взаимном влечении в Петербурге не слышал и не говорил. На чем эти выдумки основаны, не знаю. Вероятно, просто-напросто на том, что слишком уж велик соблазн представить себе такую любовную пару — Блок и Ахматова, пусть это и противоречит действительности.

Анна Андреевна была в «Собаке» всегда окружена, но уж не казалась мне такой смешливой, как тогда, когда я ее увидел впервые. Может быть, она сдерживалась, чувствуя, что на нее с любопытством и вниманием смотрят чужие люди, а может быть, мало-помалу что-то начало изменяться в ее характере, в ее общем складе. К ней то и дело подходили люди знакомые и мало знакомые, «полуласково, полулениво» касались се руки, — в том числе и Маяковский, который однажды, держа ее тонкую, худую руку в своей огромной лапище, с насмешливым восхищением, во всеуслышание приговаривал: «Пальчики-то, пальчики-то, Боже ты мой!». Ахматова нахмурилась и отвернулась. Бывало, человек

только что ей представленный, тут же объяснялся ей в любви. Об одном из таких смельчаков Анна Андреевна, помню, сказала: «Странно, он не упомянул о пирамидах!… Обыкновенно в таких случаях говорят, что мы, мол, с вами встречались еще у пирамид, при Рамсесе Втором, — неужели вы не помните?» Было у нее две близкие подруги, тоже постоянные посетительницы «Бродячей собаки», — княжна Саломея Анд-ронникова и Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, «Олечка», танцовщица и актриса, одна из редчайших русских актрис, умевшая читать стихи.

В первый Цех поэтов меня приняли незадолго до его закрытия, и был я только на пяти-шести его собраниях, не больше. Но круговое чтение стихов часто устраивалось и вне Цеха, то в Царском Селе, у Гумилевых, а иногда и у меня дома, где в отсутствии моей матери, недолюбливавшей этих чуждых ей гостей и уезжавшей в театр или к друзьям, хозяйкой была моя младшая сестра. За ней усиленно ухаживал Гумилев, посвятивший ей сборник «Колчан». Ахматова относилась к сестре вполне дружественно.

За каждым прочитанным стихотворением следовало его обсуждение. Гумилев требовал при этом «придаточных предложений», как любил выражаться: т. е. не восклицаний, не голословных утверждений, что одно хорошо, а другое плохо, но мотивированных объяснений, почему хорошо и почему плохо. Сам он обычно говорил первым, говорил долго, разбор делал обстоятельный и большей частью безошибочно верный. У него был исключительный слух к стихам, исключительное чутье к их словесной ткани, но, каюсь, мне и тогда казалось, что он несравненно проницательнее к чужим стихам, чем к своим собственным. Некоторой пресности, декоративной красивости своего творчества, с ослабленно парнасскими откликами, он как будто не замечал, не ощущал. Анна Андреевна говорила мало и оживлялась, в сущности, только тогда, когда стихи читал Мандельштам. Не раз она признавалась, что с Мандельштамом, по ее мнению, никого сравнивать нельзя, а однажды даже сказала фразу, — это было после собрания Цеха, у Сергея Городецкого, — меня поразившую:

— Мандельштам, конечно, наш первый поэт…

Что значило это «наш»? Был ли для нее Мандельштам выше, дороже Блока? Не думаю. Царственное первенство Блока, пусть и расходясь с его поэтикой, мы все признавали без споров, без колебаний, без оговорок, и Ахматова исключением в этом смысле не была. Но под непосредственным воздействием каких-нибудь только что прослушанных мандельштамовских строф и строк, лившихся как густое, расплавленное золото, она могла о Блоке и

забыть.

Мандельштам ею восхищался: не только ее стихами, но и ею самой, ее личностью, ее внешностью, — и ранней данью этого восхищения, длившегося всю его жизнь, осталось восьмистишие о Рашели — Федре. Вспоминаю забавную мелочь, едва ли кому-нибудь теперь известную: предпоследней строчкой этого стихотворения сначала была не «так негодующая Федра», а «так отравительница Федра». Кто-то, если не ошибаюсь, Валериан Чудовский, спросил поэта:

— Осип Эмильевич, почему отравительница Федра? Уверяю вас, Федра никого не отравляла, ни у Еврипида, ни у Расина.

Мандельштам растерялся, не мог ничего ответить: в самом деле Федра отравительницей не была! Он упустил это из виду, напутал, очевидно, по рассеянности, так как Расина он, во всяком случае, знал. На следующий же день «отравительница Федра» превратилась в «негодующую Федру». (В двухтомном эмигрантском издании 1964 года я с удивлением прочел в том же стихотворении такие строчки:

*Зловещий голос — горький хмель —*
*Душа расковывает недра…*

Не знаю, воспроизведен ли этот текст по одному из прежних изданий. Но слышал я эти стихи в чтении автора много раз, и в памяти моей твердо запечатлелось «Зовущий голос», а не «зловещий». Да и ничего зловещего в голосе Ахматовой не было, и не мог бы Мандельштам этого о ней сказать. Кроме того, не «Душа расковывает недра», а, конечно, «Души расковывает недра»).

После революции все в нашем быту изменилось. Правда, не сразу. Сначала казалось, что политический переворот на частной жизни отразиться не должен, — но длились эти иллюзии не долго. Впрочем, все это достаточно известно и рассказывать об этом не к чему. Ахматова с Гумилевым развелась, существование Первого Цеха поэтов прекратилось, «Бродячая собака» была закрыта, и на смену ей, хотя и не заменив ее, возник «Привал комедиантов» в доме Добычиной на Марсовом поле, где сначала бывал Савинков, военный губернатор столицы, а потом зачастил Луначарский, другая высокая особа. Умер Блок, был арестован и расстрелян Гумилев. Времена настали трудные, темные, голодные. Моя семья, по каким-то фантастическим латвийским паспортам, уехала за границу, а я провел почти два года в Новоржеве, — пушкинском «моем Новоржеве», — изредка наезжая в Петербург. С Анной Андреевной виделся я реже, чем прежде, —

и ни одна из этих встреч отчетливо мне не запомнилась, кроме самой последней.

Было это в годы нэпа. В Доме искусств на Мойке был какой-то многолюдный вечер, — не то музыка, не то чтение одного из «серапионовцев», — по окончании которого все расселись группами за маленькими столиками. Водка, закуски, пирожки, торты: после первых революционных лет — настоящее пиршество. Анна Андреевна сидела с друзьями вдалеке от меня, в другом конце зала. Аким Волынский, зная, что я люблю балет, руками показывал мне, как должны делаться «фуэтэ» и как возмутительно небрежно сделала их вчера или третьего дня в «Лебедином озере» приезжая из Москвы балерина. Было поздно. Бутылка водки на нашем столе была уже почти опорожнена.

Я увидел, что Ахматова встала и, по-видимому, собирается уходить. Та же шаль на худых плечах, тот же грустный и спокойный взгляд, тот же единственный облик… Не дослушав хореографического монолога с цитатами из Платона и Шопенгауэра, я не без труда пробрался между тесно составленными столиками, подошел к Анне Андреевне и торопливо, вероятно, даже чуть-чуть лихорадочно, стал ей говорить о ней, — не о ее стихах, а о ее внешности. Не знаю, ошибся ли я тогда, но мне показалось, что было это ей скорей приятно. Она ласково улыбнулась, протянула мне руку и, наклонясь, будто поверяя что-то такое, что надо бы скрыть от других, вполголоса сказала:

— Стара собака становится…

Передавая чужие слова на расстоянии нескольких десятков лет, передаешь их поневоле приблизительно, сохраняя лишь общий смысл. Но эту «собаку» я запомнил вполне точно. Почему она так себя назвала? Вспомнила, может быть, письма Чехова к жене? Или что-нибудь другое? Не знаю. Но это были последние слова, которые я слышал от Ахматовой в России. Вскоре после этого вечера я уехал в Ниццу, к своим, рассчитывая вернуться не позже как через полгода.

Прошло, однако, около тридцати лет. Мысли о возвращении я давно оставил. Имя Ахматовой мелькало в печати все реже, слухов о ней доходило мало. После войны появился грубейший и глупейший ждановский доклад, о ней и о Зощенко, — и за участь Ахматовой стало страшно. Никто ничего о ней не знал. Я был убежден, что больше никогда ее не увижу.

С наступлением «оттепели» кое-что изменилось. В газетах появились сведения о том, что Анна Андреевна собирается в Италию.

На следующий год она приехала в Оксфорд, где

университетскими властями была ей присуждена степень доктора «honoris causa»[2]. Из Англии до Парижа недалеко — будет ли она и в Париже? Можно ли будет с ней встретиться? Не зная, в каком она настроении, как относится к эмиграции и к тем, кто связан с эмигрантской печатью, не зная и того, насколько она свободна в своих действиях, я сказал себе, что не сделаю первого шага к встрече с ней, пока не уверюсь, что это не противоречит ее желанию.

Ночь. Телефонный звонок из Лондона. Несколько слов по-английски, а затем:

— Говорит Ахматова. Завтра я буду в Париже. Увидимся, да?

Не скрою, я был взволнован и обрадован. Но тут же, взглянув на часы, подумал: матушка Россия осталась Россией, телефонный вызов во втором часу ночи! На Западе мы от этого отвыкли. Откуда Анна Андреевна знает номер моего телефона? — недоумевал я. Оказалось, ей дала его в Оксфорде дочь покойного Самуила Осиповича Добрина, профессора русской литературы в Манчестерском университете, где я одно время читал лекции.

На следующий день я был у Ахматовой в отеле «Наполеон» на авеню Фридланд.

У Толстого, среди бесчисленных его замечаний, читая которые, думаешь «как это верно!», есть где-то утверждение, что в первое мгновение после очень долгой разлуки видишь всю перемену, происшедшую в облике человека. Однако минуту спустя изумление слабеет и порой даже кажется, что таким всегда человек и был. Не совсем то же, но почти то же было и со мной.

В кресле сидела полная, грузная старуха, красивая, величественная, приветливо улыбавшаяся, — и только по этой улыбке я узнал прежнюю Анну Андреевну. Но в согласии с утверждением Толстого, через минуту-другую тягостное мое удивление исчезло. Передо мной была Ахматова, только, пожалуй, более разговорчивая, чем прежде, как будто более уверенная в себе и в своих суждениях, моментами даже с оттенком какой-то властности в словах и жестах. Я вспомнил то, что слышал незадолго перед тем от одного из приезжавших в Париж советских писателей: «Где бы Ахматова ни была, она всюду — королева». В осанке ее действительно появилось что-то королевское, похожее на серовский портрет Ермоловой.

Мало-помалу Анна Андреевна оживилась, стала вспоминать далекое прошлое, стала что-то рассказывать, о чем-то расспрашивать, смеяться, спорить, короче — как-то «опростилась», перейдя на прежний наш легкий, прерывистый петербургский тон и склад беседы, в которой все предполагалось понятым и уловленным с полуслова, без пространных

объяснений.

О чем мы говорили? Главным образом, конечно, о поэзии, о стихах, и мне жаль, что, придя домой, я не записал беседы. Но так как было это сравнительно недавно, то почти все сказанное Анной Андреевной я помню довольно твердо и мог бы передать ее слова без искажения. Смущает и связывает меня только то, что, воспроизводя разговор, надо привести и то, что сказал ты сам: иначе не все окажется ясно. Постараюсь, однако, уделить самому себе внимания как можно меньше.

Анна Андреевна провела в Париже три дня. Был я у нее три раза. При первой же встрече я предложил ей поехать на следующее утро покататься по Парижу, где дважды была она в ранней молодости, больше чем полвека тому назад. Она с радостью приняла мое предложение и сразу заговорила о Модильяни, своем юном парижском друге, будущей всесветной знаменитости, никому еще в те годы неведомом.

Был чудесный летний день, один из тех ранних, свежих, прозрачно-ясных летних дней, когда Париж бывает особенно хорош. За Ахматовой мы заехали вместе с моими парижскими друзьями, владеющими автомобилем и заранее радовавшимися встрече и знакомству с ней. Прежде всего Анне Андреевне хотелось побывать на рю Бонапарт, где она когда-то жила. Дом оказался старый, вероятно восемнадцатого столетия, каких в этом парижском квартале много. Стояли мы перед ним несколько минут. «Вот мое окно, во втором этаже… сколько раз он тут у меня бывал», — тихо сказала Анна Андреевна, опять вспомнив Модильяни и будто силясь скрыть свое волнение. Оттуда поехали в Булонский лес, где долго сидели на залитой солнцем террасе какого-то кафе, и, наконец, отправились на Монпарнас, завтракать в «Куполь», шумный, переполненный народом ресторан, до войны бывший местом ночных встреч парижской литературной и художественной богемы, в том числе и русской, эмигрантской.

Ахматова села, внимательно оглядела огромный квадратный зал, улыбнулась, вздохнула, и, наконец, сказала:

— Если бы вы знали, что это!.. вот так сидеть… А вокруг все эти люди, эта молодежь… входят, выходят, смеются, веселые, оживленные, беспечные…

Фразу она оборвала, своего «если бы вы знали» не договорила, не объяснила. Но объяснений и не нужно было, и недопустимо было бы на них настаивать. Все было понятно. Вскоре разговор перешел на литературу: иных тем Анна Андреевна, по-видимому, избегала, касаясь их лишь случайно и нехотя. Еще до завтрака она, например, несколько раз произнесла

слово Ленинград. Я спросил ее:

— Вы говорите Ленинград, а не Петербург?

Спросил потому, что слышал, будто советская интеллигенция, по крайней мере большая часть ее, предпочитает теперь говорить не Ленинград, а Петербург или иногда по-простонародному — Питер. Ахматова довольно сухо ответила:

— Я говорю Ленинград потому, что город называется Ленинград.

Я почувствовал, что о многом ей говорить трудно и больно, тут же пожалев, что задел один из таких предметов. В ее голосе мне почудился упрек, даже какой-то вызов: «зачем задавать мне такие вопросы?» Не думаю, чтобы я ошибся в своей догадке.

Встретился я с Анной Андреевной во время ее пребывания в Париже, повторяю, три раза. Разговоров было много. Приведу некоторые их обрывки, не стремясь через два года к искусственной, поддельной последовательности и связности. Помню общее содержание бесед, но не помню их порядка.

Меня интересовало отношение Ахматовой к Марине Цветаевой. В далекие петербургские времена она отзывалась о ней холодновато, вызвав даже однажды недовольное восклицание Артура Лурье:

— Вы относитесь к Цветаевой так, как Шопен относился к Шуману.

Шуман боготворил Шопена, а тот отделывался вежливыми, уклончивыми замечаниями. Цветаева по отношению к «златоустой Анне всея Руси» была Шуманом. Когда-то Ахматова с удивлением показывала письмо ее из Москвы, еще до личной встречи. Цветаева восхищалась только что прочитанной ею ахматовской «Колыбельной» — «Далеко в лесу огромном…» — и утверждала, что за одну строчку этого стихотворения — «Я дурная мать» — готова отдать все, что до сих пор написала и еще когда-нибудь напишет. Ранние цветаевские стихи, например, цикл о Москве или к Блоку, представлялись мне замечательными, необыкновенно талантливыми. Но Ахматова их не ценила.

Судя по двум строчкам ее стихотворения 1961 года:

*Свежая, темная ветвь бузины.*
*Словно письмо от Марины*

я предполагал, что отношение Анны Андреевны к Цветаевой изменилось. Однако Ахматова очень сдержанно сказала: «У нас теперь ею увлекаются, очень ее любят… пожалуй, даже больше, чем Пастернака». Но лично от себя не добавила ничего. В дальнейшей беседе я упомянул об «анжамбеманах», которыми

Цветаева злоупотребляла с каждым годом все сильнее, — т. е. о переносе логического содержания строки в начало строки следующей. «Да, это можно сделать раз, два, — согласилась Ахматова, — но у нее ведь это повсюду, и прием этот теряет всю свою силу».

(Проверяя и пересматривая многолетние свои впечатления, я думаю, что безразличие Ахматовой к стихам Цветаевой было вызвано не только их словесным, формальным складом. Нет, не по душе ей было, вероятно, другое: демонстративная, вызывающая, почти назойливая «поэтичность» цветаевской поэзии, внутренняя бальмонтовщина при резких внешних отличиях от Бальмонта, неустранимая поза при несомненной искренности, постоянный «заскок». Если это так, то не одну Ахматову это отстраняло, и не для нее одной это делало не вполне приемлемым творчество Цветаевой, человека редкостно даровитого и редкостно несчастного.)

* * *

О Достоевском.

— Знаете, читать его мне ужасно трудно. В молодости я не прочла ни одного его романа до конца. Не могла. Начинала читать, не сплю, ночь провожу над книгой… И чувствую, что надо бросить, иначе заболею. И действительно я когда-то едва не заболела, читая «Бесы». Не могу выдержать всех этих мучений, этого горя, этих обид. Нечего делать, значит, у меня слабые нервы.

* * *

— Наконец-то вы признались, что не любите Гумилева! А ведь я всегда это знала. Но согласитесь, у него есть прекрасные стихи… «Сумасшедший трамвай», например. Разве не хорошо? «Остановите, вагоновожатый…»

— Это — литература, «литература» в кавычках. Правда, хорошая.

— Литература, литература!.. Но кто-то давно сказал, и правильно сказал… не помню, кто… что у нас в России был только один поэт, которому иногда удавалось быть вне литературы или над литературой, — Лермонтов.

* * *

— Нет, эмигрантской литературы я почти совсем не знаю. До нас все это плохо доходит. Знаю, например, имя Алданова, но не прочла ни одной его строчки. Бунин? Я не люблю его стихов, никогда их не любила. Но есть у него один рассказ, который я

прочла еще до революции, очень давно, и никогда его не забуду. Удивительный рассказ… О старом бродяге, пропойце, шулере, который тайком, сам себя стесняясь, приезжает в Москву на свадьбу дочери.

— «Казимир Станиславович»?

— Да, да, «Казимир Станиславович»… вы тоже помните? (Упоминание о «Казимире Станиславовиче» меня поразило. Мне всегда представлялось, что это — одно из самых замечательных и притом сравнительно ранних произведений Бунина гораздо значительнее, острее, глубже, чем «Господин из Сан-Франциско», который, в сущности, есть не что иное, как мастерски написанная вариация на тему «Смерти Ивана Ильича».)

* * *

— Сколько сложилось легенд, в которых нет ни слова правды, все выдумано! Сколько раз я читала и слышала, будто Вячеслав Иванов на каком-то большом собрании поэтов восхитился моей «перчаткой»… знаете, этой «перчаткой с левой руки»?.. подошел ко мне, поздравил, сказал что-то о новой странице в русской поэзии… Никогда ничего подобного не было! Помню, при встрече он действительно сказал мне, что, по его мнению, это стихотворение удачно. Но и только. Без всяких поздравлений и восторгов.

* * *

— Был недавно серебряный век русской поэзии, а теперь опять будет золотой. Я не преувеличиваю. У нас множество молодежи, которая только поэзией и живет. Пишут отличные стихи, но не желают печататься. Целыми днями, вечерами, ночами спорят о стихах, обсуждают стихи, читают стихи, — как бывало прежде, даже больше, чем прежде! Бродского вы читали? По-моему, это замечательный поэт и уже почти совсем зрелый.

В разговоре я назвал имя Евтушенко. Анна Андреевна не без пренебрежения отозвалась о его эстрадных триумфах. Мне это пренебрежение показалось несправедливым: эстрада эстрадой, но не все же ею исчерпывается! Ахматова слегка пожала плечами, стала возражать и, наконец, будто желая прекратить спор, сказала:

— Вы напрасно стараетесь убедить меня, что Евтушенко очень талантлив. Это я знаю сама.

* * *

О «Реквиеме».

Анне Андреевне хотелось знать, как была принята эта книга, какое произвела впечатление.

Я вспомнил давнее признание Цветаевой насчет «Колыбельной» и того, что за одну строчку оттуда она отдала бы все ею написанное, — и сказал, что последние строчки «Реквиема»

*…И тихо идут по Неве корабли —*

должны бы у многих поэтов вызвать такое же чувство. Ахматова забыла о цветаевском письме, и, как мне показалось, напоминание это доставило ей удовольствие.

— Трудно судить о своих стихах. Надо отойти от них, отвыкнуть, как будто разлучиться с ними: тогда яснее видишь, что хорошо, что слабо. «Реквием» еще слишком мне близок. Но кое-что в нем, по-моему, удачно: например, эти два вставных слова «к несчастью» во вступительном четверостишии.

— А другое четверостишие, о Голгофе, «Магдалина билась и рыдала…»?

— Да, это, кажется, тоже неплохие стихи.

* * *

— Довольны вы, что побывали в Париже, довольны ли оксфордскими торжествами и всем вообще?

— Да, все было хорошо, слава Богу, грешно было бы жаловаться. Но без ложки дегтя никогда не обходится… Вот посмотрите, что в ваших газетах обо мне пишут! Я только вчера прочла это.

Анна Андреевна протянула мне недавно полученный номер «Нового Русского слова» с большой статьей о ней. Я наскоро пробежал статью и не без недоумения спросил:

— Что же вам тут неприятно? Статья доброжелательная, ни одного дурного слова…

— Да, совершенно верно, похвалы, комплименты, ни одного дурного слова… Но между строк можно прочесть, что я какая-то мученица, что я страдалица, что я в современной России всем и всему чужда, повсюду одинока… Вы не знаете, как это мне вредило и как может еще повредить! Если у вас хотят обо мне писать, пусть пишут, как о других поэтах: такая-то строка лучше, другая хуже, такой-то образ оригинален, другой никуда не годится. И пусть забудут о мученице.

— Анна Андреевна, могу я передать ваши слова редакторам эмигрантских газет и журналов?

— Не только можете, но окажете мне большую услугу, если сделаете это. Я настоятельно вас об этом прошу. Не надо делать меня каким-то вашим знаменем или рупором. Неужели

эмигрантским критикам трудно это понять?

* * *

В день своего отъезда из Парижа Анна Андреевна была не совсем такой, как накануне: казалось, она чем-то озабочена или опечалена. Даже как будто растеряна. На вокзал я ехать не хотел, — у меня были для этого основания, — и пришел проститься с ней в отель. Она сказала:

— Да, не надо быть на вокзале. Я вообще боюсь вокзалов. Боялась она их не по суеверию, а по состоянию здоровья: два или три раза при отъездах у нее был сердечный припадок.

О литературе, о поэзии мы, конечно, больше не говорили. Я спросил Ахматову, как живется ей в материальном, денежном отношении: «Поверьте, я спрашиваю об этом не из простого любопытства».

— У нас хорошо платят за переводы. Теперь я перевожу Леопарди… Так что ничего, концы с концами свожу.

— А если вы больны, если работать не можете?

— Тогда хуже. Пенсия, но очень маленькая.

И в первый раз, за все три дня, она заговорила о себе, о своей личной жизни, о том, что пришлось ей пережить в прошедшие десятилетия.

— Судьба ничем не обошла меня. Все, что может человек испытать, все выпало на мою долю.

В дверь постучались. Вошли люди, с цветами, с конфетами. Пора было собираться, укладывать в чемодан последние мелочи. До поезда оставалось не больше часа.

Анна Андреевна как-то беспомощно стояла посреди комнаты, стараясь улыбнуться.

— Ну, до свидания, не забывайте меня. Не прощайте, а до свидания! Бог даст, я на будущий год опять приеду в Париж. Спасибо.

Скорей движением рук и недоуменным выражением лица, чем словами, я спросил: за что спасибо?

— Да так, за все… Не за прошлое, так за будущее. Все мы друг другу чем-нибудь обязаны. Особенно теперь.

Выходя, я в дверях обернулся. Анна Андреевна помахала рукой и сказана: «Христос с вами, до свидания». Но свидания больше не было — и не будет.

**notes**

# Примечания

*«amitie amoureuse» (фр.)* — любовная дружба.

# 2

*«honoris causa» (лат.)* - почетный доктор